

STUDIA PHILOLOGICA

ИРИНА БЕНЦИОНОВНА РОДНЯНСКАЯ

ДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Том II



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР

Москва 2006

ББК 83.3(2Рос=Рус)
Р 60

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект ¹ 05-04-16261

Роднянская И. Б.

Р 60 Движение литературы. Т. 2. — М.: Знак: Языки славянских культур, 2006. — 520 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-9551-0147-0

В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотношении с тенденциями и с классическими именами XIX — первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, — мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.

Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.

В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.

Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

83.3

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 5-9551-0147-0

© Роднянская И. Б., 2006
© Языки славянских культур, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ III. О ДВИЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Поэзия паузы: Предчувствия и память	9
Назад — к Орфею!	33

Персоналии

В чем победа? (Белла Ахмадулина)	77
Поэт меж ближайшим и вечным (Александр Кушнер)	90
1. Под знаком согласия	90
2. Под знаком расхождения	98
3. P. S. «Ворсистый смысл»	107
«И много ль нас, внимательных, как я...» (Александр Кушнер)	114
И Кушнер стал нам скучен...	123
Стальная водица в небесном ковше (Олег Чухонцев)	142
Горит Чухонцева эпоха.	154
Вязь и грань (Владимир Леонович)	162
Не на виду (Светлан Семенович)	170
Нам с музыкой голубою... Бард Фред Солянов	179
Здесь и там (Олеся Николаева)	190
Внятная речь (Дмитрий Быков)	203
По поводу Ольги (Ольга Иванова)	211

ЧАСТЬ IV. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

Помеха — человек: Опыт века в зеркале антиутопий	219
--	-----

Между

Европейский интеллектуал: Конфронтация с миропорядком и ее пределы	247
Русский западник сегодня	258

Персоналии

Роман платежных ведомостей (Бертольт Брехт)	268
Два лица Станислава Лема	278
«... И к ней безумная любовь...» (Виктор Пелевин)	289
Этот мир придуман не нами (Виктор Пелевин)	298
Свято место правее Чубайса (Юлия Латынина)	315

Ловцы продвинутых человек (Хольм ван Зайчик) . . .	326
Оглашенная в Лавре (Елена Чижова).	338

ЧАСТЬ V. ФИЛОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИ

Язык православного богослужения как препятствие к раскультуриванию современной России	351
--	-----

Между

Христианство и культура.	361
Светская и религиозная гуманитарная мысль — в аспекте словесности.	367
Слово и «музыка» в лирическом стихотворении	373

Персоналии

«Говоря ненаучно...» (Сергей Аверинцев)	420
Философская «собака, зарытая в стиле» (Сергей Бочаров)	433
Идея «жизни» и лицо художника (Петр Палиевский) .	448
«Освобожденный пленник...»: Эпизод обсуждения книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным»	455
Дерзости и заскоки Вл. Новикова.	463
Бахтин о Достоевском: несколько замечаний	468
Об А. П. Квятковском — ученом и поэте	473
Школа Александра Квятковского	483

Вместо послесловия.	494
Список первых публикаций.	501
Указатель имен	505

**ЧАСТЬ III. О ДВИЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЭЗИИ**

Поэзия паузы: Предчувствия и память

Только ли кажется это современнику и ровеснику, вплотную приблизившему взгляд к своему предмету и перенапряженному слуху, — или действительно окрепла и обнаружила себя новая, «иная» струя в поэзии? Что я вкладываю в столь широкие слова, объясню потом, но и прежде всех объяснений три выбранных здесь имени — Татьяны Глушковой, Игоря Шкляревского, Олега Чухонцева — подскажут: речь идет не о тех, кто объединен литературными знаменем или мировоззренческим пристрастием. Конечно же, не школу, а культурное веяние, незаметно перемещающее общий поток нашей лирики в сторону неведомого завтра, хотелось бы мне обозначить, и задача моя трудна, ибо неочевидна.

Но так же трудна поэзия интересующего нас толка — невнятность конечного смысла и особой содержательной уплотненностью.

О чем молчу, темнея впалым ртом,
в какой пролетке, бабкиной коляске
лечу, когда весна хрустит песком,
когда в автобус, что набит битком
людьми, что врукопашную, ползком
(когда Москва не позади — кругом:
на беженских подводах, босиком,
давясь своим заплаканным платком) —
а выстояли при Волоколамске, —
сажусь рядком, чтоб говорить ладком,
волос моих киваю узелком,
совсем не замечая этой тряски?..

Двенадцатистишное — на две рифмы, в одну фразу — стихотворение Т. Глушковой (оно представляется мне узловым) сразу, одним чтением, конечно, не возьмешь. Сначала надо уловить общую интонацию — вопросительную, затягиваю-

щую силой длинного вздоха, — распутать маршрут синтаксиса, потом уж разглядеть зарисовку, а сквозь нее — моментальные вспышки прошлого и, наконец, понять состояние поэта и подход его к жизни.

Стушенность здесь такова, что каждая черточка может быть распространена на жизненный мир двух сборников Глушковой¹, бегло повторяя его контуры и грани. Темнеющий рот, узелок волос — этот непарадный (рядом со смуглым загаром, шалью, пестрыми ситцами) образ, как бы поубавивший телесной пластики, скудный, запекшийся, пришел в стихи Глушковой не столько из предчувствуемого позднего одиночества, сколько из детства: сквозь взрослые черты проступает четко увиденный со стороны облик ребенка с «невнятным, заплаканным ртом», «с черничными, невнятными устами». И из детства же, из участи киевских беженцев, так и не догнавших откатывающийся фронт, — сочувственное знание тех подмосковных подвод 1941 года, тех слез и смятения: «Грохочет беженцев тележка. / Куда ей — от войны свернуть! / Какие крохотные дети. / Какие горькие глаза. / Вербочкой связан скарб столетий. / Скрипят четыре колеса». Это завязь ее стихов, — как не раз совершается ею все тот же мысленный перелет меж Подмосковьем и Приднепровьем: от взгляда на сухой Ламский волок — к памяти о послевоенной засухе на Украине. И среди набившегося в автобусы люда — тех ли, кто отстоял Москву, или детей их, все равно причастных к общей страде, — она своя: «сидит рядком» да «говорит ладком». Но погодите, ведь и молчит же одновременно, ведь не вся здесь. Не трясется со всеми, а летит «в пролетке, в бабкиной коляске». Так, незаметно, сделан еще шаг в глубь времени, не в ближний, а в дальний исторический день, в ту память, которая у автобусных попутчиков, быть может, лишь неосознанно дремлет, а у поэта бодрствует за всех сородичей и соотечественников. Ведь «Москва не позади — кругом» — это реплика столько же на лермонтовское, бороздинское: «Ребята, не Москва ль за нами», сколько и на слова, прозвучавшие во вторую Отечественную: «Отступать некуда — позади Москва».

Эта отъединенность от сегодняшнего окружения («молчу...», «лечу...»), с тем чтобы приобщиться к давно отшедшим и помянуть их, может быть сочтена, как предполагает сам

¹ Глушкова Т. Выход к морю. Стихи. М.: Современник, 1981; Глушкова Т. Разлуки нет. Стихи. М.: Советский писатель, 1981.

поэт, «недемократичной», что ли. Но — ... если скажут: мне всего милее

древесный шелест — не людская молвь,
набухшие от сырости аллеи —
не равенство, не братство, не любовь, —

она в ответ расскажет о том, как в ее уединение «всю ночь с листвы глядят людские души, хлебнувшие безлюдной высоты» еще со времен Ледового побоища.

Для Глушковой не существует истории, которую узнают лишь из книг. В «Выходе к морю» превосходные белые стихи свидетельствуют о таком ощущении исторического стиля, какое не назовешь нажитым, приобретенным через общедоступные каналы культуры. И вправду, как бы земля рассказала, как бы тени поведали, как бы двухвековая липа взяла в компаньонки, чтобы вдвоем смотреть на царский поезд Елизаветы Петровны: «... я прихожу сюда / Неслышная, хотя бы раз в столетье... Тут некогда царица проезжала / С блестящими, веселыми глазами, / Лицом в отца... И дюжий студиз / Ей громыхал латынью. Как доспехи, / Валились в пыль пудовые слова. / Но, слава богу, лаврский перезвон / Взлетал превыше тощего Пегаса!» Украинское «зеленокудрое барокко» Киево-Могилянской академии, последних дней Сечи, старчика Григория Сковороды, гоголевского Хомя Брута и слепых лириков — для нее такой же дом, как и заросшие лопухами дворы израненного послевоенного Киева, где она малым ребенком находила «пышные укрытья». Стоит осмотреться, спустившись к Подолу, как эта отдышавшая жизнь — гомон базара, звон колоколов, бурсацкие забавы, картинное изобилие — воскреснет и обступит странницу, знакомая невесть откуда и с каких пор («отродясь»). И почти столь же близким — не родным, но родственным — предстает раннее, «варяжское», североевропейское средневековье, повязанное с Киевской Русью. Уже не из памяти, а из прапамяти выплывает старинный славяно-германский «выход к морю» — допетровский, дотатарский. Сквозь незнакомые черты торгового прибалтийского городка смутно проступает какой-то намек, знак о былом, и слышится неожиданный отзвук родства.

Живя сразу во многих временах, поэт всегда с кем-то далеким аукается, за кем-то невидимым следит. В подмосковной

усадыбе все еще «припрятан» наследственный владелец дворянского гнезда: «Смугловатый блондин, сладкоежка, / как чадишь — хоть припрятан хитро! / Самохвал, богоравная пешка, / в переплавку — твое серебро! / Ты сгодишься мне в полночь слепую... Чтобы я в эту кровь голубую, / снег падучий да тьму земляную, / торопясь, обмакнула перо!..» Обмакнула — и вот уже, трясясь в рейсовом автобусе, летит тем временем «в бабкиной коляске».

Что же все-таки понудило поэта, как «скарбом столетий», нагрузить маленькую тележку стихотворения памятью, прапамятью, вчерашним опытом, переживанием текущего дня? Но тут мы как раз столкнулись с одной из тех черт поэтического сознания, которые рискую назвать новыми: больше не существует отдельных тем или канонически уравновешенного их переплетения. Как развернется стихотворение, у Глушковой совершенно нельзя предугадать по первому стиху, даже строфе (а традиционная композиция обыкновенно ведь предсказуема, как fuga). Поэт начинает:

Уже следов любовного недуга
ты на моем лице не различишь.
Высоким смехом отвечает вьюга.
Церковкой звякнет городская тишь.

Думаете — любовная элегия? Нет, из предполагаемой элегии, из стужи мы тут же негаданно переносимся в идиллию, в старосветский уют и смиренную тишь северного лета: «Я проживу в Можайске или Пскове, / я в Новгороде молча проживу. / Я заведу зеленый огородец, / я маков цвет на грядках разведу. / И буду думать: вот скрипит колодец, / вот плещет гусь на солнечном пруду». В окружении других стихотворений эта быстрая смена сезонов и состояний души (ее хватило б на поэтический цикл) в конце концов становится понятной: после любовной драмы на фоне летнего юга и домика в полушубке из виноградного меха — тоскливое возвращение и под завывания вьюги мечта о другом лете, «своем», залечивающем недуг. Но тут речь поэта еще раз круто проворачивает, и мы читаем о чудском льде (недаром был раньше упомянут Новгород, но ведь вскользь, наугад, не во имя прямолинейного сюжета), слышим слова о русском пространстве и русской судьбе, о терпении и вере в бессмертие:

... я так скажу: для этих расстояний
на сорок бед — единственный ответ:
страданье не зовет себя страданием,
разлука знает, что разлуки нет.
Девчонка помнит: нарядят вдовою,
Мальчонка чует, что — героически пасть...
Что жизни им отмеряно с лихвою
в тот час, когда она оборвалась...

Стихотворение действительно стремится захватить чрезвычайные «расстояния», спроецировать личную драму на экран национального характера, двигаясь непредсказуемым маршрутом. В такой сомнамбулической свободе есть опасность: стихи подобного рода нелегко укладываются в память, а в случае неудачи безотчетно «бормотливы». Но есть в этом и некое волнующее современную душу приобретение. Дистанция между «я» поэта и предметами его внимания предельно сократилась, едва протянув руку, он натывается буквально на все разом — все тревожит, бередит, напоминает, предвещает. Эту постоянную и не всегда ясную тревогу первым передал нам Блок, и, несмотря на то что его тревога уже разрешилась раскатами революций и войн, нас она не покидает и поныне. Весь мир неупорядоченно вобран в лирический горизонт (импульс, заданный опять-таки Блоком), стянут в один пучок связей со своим особенным личным центром; перегородки между темами пали, как некогда под натиском романтизма — перегородки между жанрами. Так, у Глушковой: родина — лирический центр всего написанного; но периферийные темы слитно присутствуют в каждом сколько-нибудь обширном монологе, создавая неклассическую плотность пространства. И это при том, что высшей ценностью жизни — даже в ущерб этической чувствительности — Глушкова готова провозгласить идеал классической гармонии: в красоте — оправдание мира, под ее солнцем «разлуки нет».

Всего краше в этих стихах земля, ее растительная сила, ее нижний, ближний уровень — в травах и насекомых, куцах и певчих птицах. У зрения Глушковой есть один секрет. Она смотрит на всю эту подробную роскошь летнего копошения не только глазами детства, но и с малой высоты тонущего в зарослях ребячьего роста (ей «вечно — меж листвою и травой — мелькать льняною, русой головой»), когда земля и все

ее мелкие твари вдвойне доступны для острого взгляда и проворных пальцев. «Золотое шуршанье в бурьяне, блеск лимонницы, рванный полет»; «Трезвонит грозная пчела, стрекочет сломанный кузнечик... поводит плюшевым оплечьем (а голос — войлочная мгла!) в цветке ромашковом, увечном, мой шмель...»; «Какой грибной, какой разумный дух плодит земля, качаясь под ногами! Бредет горбатой улочкой петух, промокший, ослепленный жемчугами». Одни из этих строк написаны по младенческим впечатлениям, другие — по сегодняшним, но детская «жадность к тому, что живет», угол пристального наклона к земле — одни и те же:

А на старой, разбитой дороге,
где пустые трехтонки пылят,
восхищенно стрекочут сороки:
в бузине — колыбель соловьят!

В бузине — в двух шагах — наклониться
над прогорклым кустом, над рекой:
это пташки, знакомые лица,
это сгорбленный шмель луговой!..

Удивительны при таком ближнем взгляде на земной убор пчелы. Кажется, ни одна летняя панорама не обходится у Глушковой без пчелиного племени, без тяжелого гуда «кардинальских» шмелей (да и глубокой осенью неожиданно обретает голос «шмель, перетлевший в навозе»). Тут особое изобилие метафор: от пронзительных слов о бедственном лете недорода («Все-то снится мне город в руинах, / буйнокрылая в окнах трава. / На шмелиных обугленных спинах, / еле может стоять синева») до взгляда, невзначай брошенного в удающую минуту: «И пчелку на ниточке водит / какой-то безбожник хмельной, / шиповника сердце находит / ее хоботок ножевой». Поэт как бы и сам не властен над глубинным образом, всплывающим из «младенческих» пластов подсознания; но так или иначе, красота, созидаемая в этих стихах «под знаком пчелы», чем-то связана с душевным складом их героини: потаенная люта́я работа при внешней беспечности и даже неге. «Это поздний шиповник зацвел, / столь малинов — душа на излете! — / чтоб последнее золото пчел / отзвенело в янтарной заботе» —

строки, столько же повернутые к осеннему миру, сколько обращенные внутрь себя.

А между тем над красотой в прочном (по-старому) и гармонически ясном смысле преобладает беспокойство, сминающее речь лепетом намеков и туманностью безответных вопросов. «О чем молчу?» — знать нам все же не дано. Лирика этого рода начинается и кончается умолчанием, она силится «молчание к слову присватать», она заводит речь как бы с середины — в ответ на невысказанные мысли — и часто обрывает на полуслове. Она не тяготеет к лирической биографии, лирическому роману, осуществляясь в обход исповеди. Даже в «женских» стихах — о любви, судьбине и разлуке — есть лишь опрозраченная вытяжка чувства: нет ситуации, обстоятельств, элементов повествования. Эта целомудренная скрытность — не только лично-психологический факт, но и литературный симптом. Поэты «новой формации» пренебрегают сколько-нибудь связным лирическим самоотчетом — при упорной ориентации на собственный опыт во всей его конкретности и «случайности», а не на универсальную идею. Поэт представляет от своего времени, от своей человеческой среды, не столько выдвигая и типизируя собственную участь, сколько вслушиваясь в «чуткий воздух» («... так чуток воздух этих стылых мест!»), переживая и разгадывая впечатление как знамение.

Драма собственного, отдельного существования уже не кажется столь захватывающей: границы ее размыты, она как бы переадресована тому, что вокруг, — «раките над вечным покоем», трактористу «в полюшке голом», — и стихает в родном далеке, находя умиротворение:

Погляди: горизонта черта,
как уста, стала узкой и красной.
Промолчу — но моя немота
никогда не бывала напрасной!

Погляди: луговой зверобой
не жалеет целебных соцветий.
И бегут золотою гурьбой
с золотыми лукошками дети...